

МОЯ ЖИЗНЬ ВНЕ ИСКУССТВА

«Entchen, Entchen über alles»^{*)}

Когда мой друг, бывалый пианистиче, к тому времени уже игравший на сценах всех первоклассных Холлов начиная с Карнеги и кончая Элизабет, приехал в Мюнхен навестить меня, я со злорадным предвкушением повел его на концерт детей, где среди прочих выступали и мои ученики.

Там происходило много забавного. Одна из сидевших на первом ряду девочек – видно, особо тонкая артистическая натура, страдающая от несовершенства чужих ученических интерпретаций, – беспрестанно мерзко подхихкивала, заглушая еле теплящийся на сцене звук рояля. Наконец она и сама полезла на сцену. Брякнув тут и сям и выяснив, что, несмотря на стоящие перед ней ноты, она совершенно не знает, что играть, юное дарование хихикнуло в последний раз и под заслуженные аплодисменты скатилось со сцены. Публика умилялась.

И все же наибольшее впечатление на неокрепшую душу русского музыканта произвела другая концертантка – та, что бодро оттарабанила какую-то невозможно кастрированную детскую бирюльку Шумана. «Что это было? – с неприятным омерзением спросил друг. – Это был действительно он, Шуман?» «Шуман, Мишенька, Шуман! – успокоил я его. – Только в облегченной обработке». Он вскипел: «Что? Облегченная обработка детской пьесы? В каком это смысле?» Я попросил его взять себя в руки и постарался, как мог, объяснить: что мы находимся в сердце Европы в стране многовековых музыкальных традиций, что не гоже со своим уставом в чужой монастырь и что, в конце концов, Шуман – тоже немец, и они с ним пусть что хотят, то и делают.

Он ничего не ответил, только тихо покачивался взад-вперед, обхватив голову руками, и я пожалел, что не предупредил его заранее...

Вообще, любые детские особи, изредка встречающиеся среди коренного немецкого населения, неизменно вызывают всеобщее умиление, что бы и как бы они ни делали. Всё и вся здесь всенепременно и бесповоротно «süß». Сладость и умиление просачивается здесь отовсюду: из маленьких хорошеньких домиков с намалеванными на стенах розово-голубыми идиллическими панно и усеянных повсюду цветочками; из крохотных ухоженных двориков с керамическими или пластиковыми уточками, кошечками и гномиками; из нарядных баварских гостиничных залов, увешенных повсюду буколическими картинами и рогатыми останками оленей, среди которых где-то незаметно ютится скромно распятый Христос...

Очень впечатляет! Только меня почему-то так и тянет спросить: оленей, понятное дело, хозяин на охоте порешил, а Христа – тоже кто-то из вашей семейки?..

И неудивительно, что тут к Пасхе повсюду инсценируются баховские «Страсти»: все по-настоящему, как тогда – даже Иисуса слегка распинают. Называется это Passionsspiele. В баварском Oberammergau как-то заболел исполнитель роли Христа, срочно взяли другого: роль-то у него небольшая, только повисеть немного. Ему, однако, распинаться было не

*) Перефразировка первых слов немецкого Гимна „Deutschland, Deutschland über alles“. Немцам пришлось дистанцироваться от нацизма и выбросить эту строфу, и теперь многие по ней страшно тоскуют.

больно охота – он возьми и поставь условие: губку ему на копье не с положенным по евангелию иудейским укусом ко рту подносить, а с баварским шнапсом! Тогда уж он, как положено, вкусит, испустит дух и споет,: „Es ist vollbracht!“ (свершилось, то есть). На премьере все шло как по маслу. Но вот подошел самый драматический момент – он высасывает губку со шнапсом... а петь вроде как и не собирается. И знаками показывает: мол, мало, еще давай! Дают еще – снова не поет. Только когда насосался вволю как заревет: „Es ist... (ик!) – prachtvoll!“ (это, короче, великолепно!)

А с другой стороны, публика ведь жаждет сильных страстей. Страстей давай! Воистину реку: мы еще узрим тот осиянный день, когда одесную и ошуюю не токмо разбойников, но и музыкантов подвесят... Что ж поделаешь, если "шоу" неотъемлемо присуще современному искусству. Хочешь, не хочешь – придется всем потихоньку ошоуевать. Хотя я лично пока не собираюсь – подожду, когда подвесят.

* * *

В России у меня сразу начинались судороги, когда какой-нибудь ребенок подбирался к инструменту и начинал брэнчать «Собачий вальс». Это все потому, что, не имеющий широкого европейского образования, я упустил знакомство со «Всеми моими уточками» („Alle meine Entchen“, как здесь принято выражаться). Что касается «Собачьего вальса», то он популярен и среди немецких детей, правда называется он тут «блошиным» (чувствуете метафизическую связь? – то ли блохи танцуют непосредственно на собаке, то ли собака, кусаемая на три четверти, кружится от сознания своего полного бессилия, то ли танец происходит в едином порыве на всех уровнях: блохи кружатся на собаке, собака на земле, Земля же – в просторах бесконечного космоса...) Как бы там ни было, этот собаче-блошиный Вальс – просто трансцендентный этюд Листа по сравнению с «Уточками», которые успешно и без всякого усилия могли бы быть исполнены одним пальцем отдельно взятой руки или ноги, причем даже левой задней. Эта штука не только посильнее Вальса (во всяком случае, если судить по моим судорогам), но это практически то единственное, что могут сыграть здешние дети после нескольких лет обучения музыке. Приверженность немцев этой незамысловатой мелодии поистине безгранична: «Уточки» вполне могли бы претендовать на роль немецкого национального гимна «Entchen, Entchen über alles»...

Хотя музыкой у них занимаются почти все. И когда ребенок, мучительно перекошенный над клавиатурой, как засохший саксаул, своими какой-то неизвестной, но страшной болезнью вывороченными руками пытается воспроизвести эту безыскусную песенку, это называется у них ... „zum Spaß!“ – в смысле, для удовольствия...

К этим мазохистским склонностям надо еще добавить их странную любознательность. Стоит в школе помянуть на уроке добрым словом какого-то классика, как тут же кто-нибудь обязательно спросит: а от чего он скончался? И тут простым ответом не отделаешься, без глубоких медицинских знаний не обойдешься! Создается впечатление, все эти детки с мозгами в клеточку – будущие активные члены общества юных прозекторов. А что они ни одной ноты этого классика не слышали, то это их совершенно не смущает. Поэтому на вопрос «как зовут трех знаменитых сыновей Иоганна Себастьяна Баха» они, не задумываясь, бодро отвечают: «Гайдн, Моцарт и Бетховен!». Зато диагноз вскрытия точно поставят.

* * *

После нескольких лет, проведенных в таком цветнике искусств, я думал, меня уже ничем не удивишь. Как жестоко я ошибался!

Однажды, застигнутый врасплох немецкой преподавательницей со стажем, но без опыта, я принужден был согласиться проконсультировать ее. Она пришла с кипой различных «Школ» современных полуккомпозиторов – полупедагогов (причем обе половины худшие), решив продемонстрировать, чем она годами из урока в урок развлекает своих ученичков. Открыв ноты наугад и сыграв на белых клавишах пару терций, потом другую

пару, а потом снова первую, она победно взглянула на меня, словно говоря: «ну, каково?», словно приглашая разделить совместную трапезу на пиршестве музыкантов-гурманов. Прочтя в моем взгляде легкое недоумение, она ткнула пальцем в название этого оригинального произведения («Жаба») и комментариев к нему. Не дожидаясь, когда я его прочту, эта полная немолодая женщина с двумя высшими образованиями и свежееиспеченным докторским званием, сгорая от радостного нетерпения, вскочила со стула, доковыляла до середины класса и, присев на корточки, стала тяжело подпрыгивать, подкидывая свое массивное седалище. «Вот так, вот так! Сначала попрыгать с учеником вот так, а потом играть!»

Видимо, неправильно истолковав мое молчание, она решила продемонстрировать и следующую пьесу того же сборника, и, запыхавшись, побежала обратно к инструменту. Сначала ученик играет просто “до-ре-ми-фа- соль-ля“. Потом он снова начинает с ноты “до“, но доходит уже до “си“, понятно?! А потом играет всю гамму – от “до“ до “до“, представляете? Я представил. Ага. Вот оно что! И как же все это должно называться? Неужто снова что-то из жизни рептилий? Не тут то было! Теперь это было «Стояние на голове»... Признаюсь, моей фантазии явно не хватало на то, чтобы вообразить, в чем соль этой новой рафинированной шутки. Тогда, с видом снисходительного превосходства, бывшая Жаба бухнулась головой об пол около стенки, но не обернулась царевной, а попробовала закинуть вверх свои ножищи. Рухнув всей тяжестью на пол, она попыталась еще раз – и снова рухнула. Я вскочил, движимый желанием помочь этой явно повредившейся в уме женщине. Но она, оттолкнув меня, наконец-то обрела внутреннее равновесие, застыла на пару секунд, а затем бесформенной грудой снова обрушилась на пол, глухо задрожавший от ужаса. Струны рояля тоже недобро отозвались глухим рыком. И тут меня озарило! Эти две несостоявшиеся гаммы – это же как бы тонкая иллюстрация несостоявшихся стояний на голове!..

Заметив, что я наконец-то прозрел, моя коллега смотрела на меня со счастливой улыбкой сквозь слезы, как на выздоровевшего после тяжелой болезни.

А я... Я понял, что ей уже вряд ли можно чем-нибудь помочь.

Мюнхен, январь 2004

P.S. Дама эта вскоре не без моей помощи покинула наше заведение. Услышав, как играют ее ученики после долгих шести лет занятий, я заявил, что на ее месте непременно повесился бы уже через пару лет. Недавно я позвонил ей и попросил прислать те самые композиции, которые так поразили меня своей силой и свежестью. Она несказанно обрадовалась тому, что я все-таки дозрел до признания ее метода. Еще через пару дней я получил копии этой педагогической жемчужины. Теперь свидетельство подлинности описанного эпизода у меня всегда под рукой: Edna-Mae Burnam «A DOZEN A DAY» Pre-Practice Technical Exercises for the piano, Book one, IPM England.

Глубоководное

Тут меня один немецкий Айболит уж почти как год на «колеса» посадил, причем – на всю оставшуюся жизнь. Он так и сказал, радостно очень. Правда, при этом тактично умолчал, долго ли осталось. Только спросил: «Вам уже 40 было? Чего же Вы хотите – гарантийный срок кончился!» На это я слабо возразил, что перед посещением морга я все же согласился бы некоторое время побыть клиентом аптеки...

Пока это только пол «колеса» в день, но доктор намекнул, что скоро придется встать на все четыре. Самое противное, что у меня часов около пяти дня что-то там внутри меня внезапно падает, и я мочи нет, как спать хочу! А как раз в это время у меня всегда ученики. Какое тут горение? Ладно, если бы они могли что-нибудь бренчать хотя бы десять минут подряд, не спотыкаясь и не оборачиваясь с испугом на мирно дремлющего педагога. Так ведь нет! Останавливаются и подло смотрят! Приходится изображать недремлющее око, или как дельфину – спать одним полушарием.

Как-то раз я вот так задремал, оставив одно полушарие бдеть. Закончил ученик свою канитель – ну, я и сказанул ему что-то. Но явно из сна. Правда, в то же мгновение очнулся – а ученик пристально так на меня смотрит. Не знаю, чего уж такого я мог ему сказать. Не спрашивать же в самом деле!

Это еще что! – одну исключительно бездарную ученицу я чуть не уронил. Оперся на спинку ее стула и задремал. А вес-то у меня – о-го-го! Ну, оторвал ее, родимую, от клавиатуры и рояля вместе со стулом к чертовой матери. Вот был бы номер, если бы я на нее сверху приземлился, и тут вошла бы ее мамаша!..

Хотя, спрашивается, для чего такая ученица могла бы еще пригодиться?..

* * *

А теперь я в одном месте работаю, где ученики ко мне в молитвенный дом при церкви приходят. Там у них зал, и роялька в зале стоит. Прямо на клавиатуре сею разумное, доброе вечное. А всходят почему-то одни зубы дракона. Чувствую я себя то Винни-Пухом, который лез за медом, а кончил совсем плохо – весь облепленный пчелами, то пароваркой без дырочки, которую скоро рванет ко всем чертям.

Чаще всего урок начинается с развернутой преамбулы: очередной ученик рассказывает о ледящих душу обстоятельствах, сделавших невозможным изучение заданных произведений. Как-то раз одна моя подопечная радостно заявляет, что ей, мол, трудно будет играть: перед тем, как идти ко мне, она как раз сделала себе прививку от бешенства! Честное слово, именно так и сказала. Спасибо, – говорю, – за откровенность! Я, конечно, люблю на уроке позверствовать, только к чему уж такие меры предосторожности?

И мозги у них вовсе не в клеточку, как тут многие думают, а совсем наоборот: в крупную дырочку! Талдычу одно и то же на каждом уроке, как попугай... И все же изредка достигаю неожиданного результата: одну, к примеру, в конце концов прорвало, и она в сердцах воскликнула: «Я не глухая! Я тупая!»

И вот от этих учеников я в такое молитвенное состояние духа прихожу, что стараюсь хоть на пару минут выйти куда-нибудь вон.

А куда там можно выйти на пару минут, да еще вон? Только в туалет.

И вот, стою я в туалете, прислонясь к дверному косяку, и снова выходить на подмостки не спешу. Поглаживаю холодный бодрящий кафель и понемногу успокаиваюсь. И тут вдруг, такими яркими вспышками в мозгу, передовицы бульварной прессы с ледящими душу фотографиями и пестрыми заголовками: "Малолетняя ученица зверски изнасилована русским профессором музыки в туалетной комнате молитвенного дома"...

К чему бы это?

В таком отвлеченном состоянии духа я теперь часто нахожусь.

Вот, например, один раз мне как-то вдруг захотелось особнячок прикупить!.. Не хватало сущей малости: денег. Думаю, спрошу в банке – пусть дадут. Договорился о встрече. Приезжаю в слегка приглушенном состоянии органов чувств. Смотрю – шик и лепота! Гигантское строение с огромным внутренним двором, покрытым стеклянной крышей, туда-сюда снуют прозрачные игрушечные кабинки лифтов, в центре – мраморный пол. На мой вопрос привратник машет мне в направлении лифта. Ах, какой пол – просто загляденье! Настоящий шедевр дизайна: блестящий, черный, и не просто мраморный, а покрытый чем-то прозрачно-отсвечивающим, наподобие глади озера... Приближаюсь к этому трехмерному чуду и долго всматриваюсь: надо же! иллюзия воды почти полная, только что не колышется...

Шагаю... – и оказываюсь по колено в бассейне. Забился, запенил, забурлил... А чего ей, воде, было колышаться-то, пока я не влез? Чай не аквариум с рыбками!

Вахтер даже руками всплеснул! Ну, еще бы – ведь это по его мудрой указке я к лифтам напрямик попер...

Проклиная дизайнера и прикрываясь портфелем от остолбеневшей публики, добираюсь до нужного кабинета... Какой уж там особнячок после этого! Никому ведь не объяснишь, почему под стулом такого солидного человека такая солидная лужа.

А вы говорите – таблетки от давления! Тут находишься постоянно под таким давлением, что пора водолазный костюм надевать...

* * *

А теперь послушайте про одну мою знакомую – жену мецената. Они с мужем как-то раз побывали на моем концерте и совершенно разомлели в мою сторону.

И вот иногда она призывает меня к себе.

Все выглядит вполне невинно. Она как бы играет на скрипке, а я ей как бы с листа аккомпанирую. На самом же деле, то, чем мы там с ней занимаемся, правильнее было бы назвать предельно изощренными извращениями.

Однажды она вдруг заявила: «А я еще и пою. Правда, хуже, чем играю на скрипке». Внутренне отдав ей должное за такую беспощадную требовательность к себе, я изобразил целую гамму чувств, от возмущенного недоверия до снисходительного великодушия, и пролепетал, что это никак невозможно.

Она решила меня тут же на месте в этом убедить, открыв толстый том арий композитора Телемана. Ничего не оставалось, как мужественно читать с листа все эти нескончаемые арии. Манера пения у нее была ненавязчивая: задушив голос в утробе, она тихо подвывала между нот что-то невнятное голосом, похожим на пущенную назад магнитофонную запись. В общем-то, она мне даже не очень мешала. Вот только на последней ноте каждой фразы внезапно просыпались дремавшие в ней силы, и она без жалости расставалась с остатком воздуха. Получалось неожиданно громко и неприятно. Свои выделения она сопровождала многозначительно-выразительным кивком в мою сторону, с разгону загоня головой в рояль воображаемый гвоздь. Постоянное повторение этого оригинального художественного приема так гипнотизировало, что меня снова настигла предательская слабость: перед самым последним аккордом одной из арий я отключился (кстати сказать, я почти уверен, что случаи засыпания во время читки с листа в музыкальной практике до меня не встречались). Согласно стилевым особенностям эпохи этот проклятый аккорд собирался быть заключительной тоникой. Очумело вынырнув из моего мгновенного забытья, я совершенно не представлял: в какой тональности мы, собственно говоря, находимся? – и отчаянно-бравурно приделал первое подвернувшееся под пальцы трезвучие.

Не угадал.

Моя партнерша, так и не забив своего последнего гвоздя, оборвала лебединую песнь и застыла с раззявленным ртом, словно я ей продемонстрировал голову М. Горгоны...

А недавно звонит она мне и сообщает, что некая знаменитость дает сегодня второй том «Хорошо темперированного клавира» и что ее муж сможет только на второе отделение прийти. Так что она меня приглашает на первое. Что ж, почему бы не послушать первую половину последнего тома и не составить себе некое представление о трактовке Баха этим именитым пианистом и дирижером?!

Выйдя из метро, вливаюсь в плотный поток элегантно одетой публики, там и сям попыхивающей трубками с дорогим табаком, веющей шарфами и парфюмом и несущей под мышками ноты Баха.

В вестибюле сталкиваюсь с музыкантом, моим добрым знакомым. Оказывается, он уже присутствовал вчера на Первом Теме. И, между прочим, концерт продолжался три с половиной часа. Ну, я-то после перерыва все равно уйду! А как пианист? – Трехжильный:

недавно отмахал пять четырехчасовых опер Вагнера за одну неделю! – А вчерашний Бах? – Да как тебе сказать... – Что, плохо? – Да нет... если привыкнуть... Но лучше сам послушай!..

Разыскиваю в толпе мою благодетельницу. Говорим друг другу любезности, она сообщает о потрясении, в которое ее и мужа поверг Первый Том в интерпретации прославленного музыканта – глубокой, отрешенной, чуждой всего повседневного...

Мы усаживаемся в седьмом ряду партера напротив рояля. Зал полон. Размещенный на сцене избыток публики создает пестрый живописный фон позади инструмента...

19.34

...И вот он выходит! Таким, понимаешь ли, огурчиком. Даже моложе, чем десять лет назад.

И начинает играть эту гениальную музыку в непринужденном стиле читки с листа.

Играет по нотам. Заканчивая одно произведение, оставляет долго остывать на педали последний аккорд, чтобы заняться тщательным складыванием, переворачиванием, разворачиванием и разглаживанием нот... Потом сразу переходит к следующему номеру программы.

Лишенная пауз, чахоточная публика каждый раз взрывается коротким, но интенсивным приступом укоризненного кашля.

А знаменитость кропотливо трудится. Без усталости работает педалью. То нежно порхает по клавиатуре, извлекая небесной красоты импрессионистические звучания, то, словно демонстрируя некую оркестровую партитуру плохо слышащему ученику, начинает крайне неприятно выделять какие-то особенно приглянувшееся ему мотивы, превращая при этом остальные голоса в красивую, еле различимую кашу. Грандиозности ради, там и сям удваивает в октаву бас или верхний голос – а то и оба сразу.

Короче, создает грандиозную карикатуру на несчастного Баха...

Нет-нет, справедливости ради надо сказать – изредка красота звука и оригинальность прочтения действительно потрясает, и музыка даже вот-вот достигнет вершин мистического откровения... Но это – лишь небольшие островки в нескончаемом потоке нарочитости и вяло текущем процессе творческого горения. А в целом пассы маэстро неумолимо ввергают меня в пучину безвольного, гипнотического обморока...

А я в этот день как назло не выспался. Поздно лег, рано встал. Не мог заснуть, не мог проснуться. И вот сижу я, и меня, как во время игры моих нерадивых учеников, непреодолимо клонит в сон.

А за мной, знаете ли, водится такой грешок: могу всхрапнуть. Не в смысле «всхрапнуть часок» = «вздремнуть», а в смысле задремать, а потом совершенно неожиданно и смачно всхрюкнуть. Громко. Дочка моя тогда вздрагивает и смеется: «да ты просто настоящий медведь!» Это она меня просто свиньей назвать не решается.

И вот сижу я на Втором Томе и только одна мысль вертится: а что если возьму – и всхрапну? В смысле – всхрюкну? Я отгоняю эту мысль, отгоняю, от... гоня...

19.52

...И вдруг я понимаю, что пианист убил свою жену. Четырьмя выстрелами, в упор. И пришел сюда играть Баха (вот этими руками, обгагранными невинной кровью) только для того, чтобы отвести от себя подозрение и уйти от наказания. Но теперь ему это точно не удастся. Потому что я уже сижу в зале и все-все про него знаю...

...Пробуждаюсь: ага, это меня нагнал вчерашний телевизионный триллер. Чудненько... Тут уже и до галлюцинаций недалеко!

Вот только: всхрипнул или не всхрипнул? Судя по одухотворенному лицу на вытянутой шее моей знакомой, вроде еще нет...

19.56

Смотрю направо – старушенция, падла, откровенно так начинает клевать носом и медленно-медленно загибаться. И надо же – совершенно не боится всхрипнуть! Смотрю налево – моя знакомая раскачивается в такт усилиям пианиста и трясет головой, все сильнее и сильнее. Ага, видно ее тоже одолевают изменные наклонности! «Ах, Бах! Бах, ах!» А сама тут дремоту разгоняет!

Может, и мне так попробовать? Подстраиваюсь к ней, вхожу в ритм, трясую головой и раскачиваюсь. Переживаю, значит, музыку. Страстно.

20.01

Нет, все-таки это как-то неприлично выглядит. То ли две пристяжные, то ли я ее просто передразниваю, то ли еще что похуже. Да и кресла всего ряда начинают постепенно входить в резонанс.

Придется эту затею бросить...

20.08

Что же делать?

20.15

На ботинке отстегнулся хлястик. Нагибаюсь. Прихлопываю. Как-никак развлечение.

20.24

Засвербело в носу. Да так сильно! Вдруг чихну? Пианист, высвободив из-под фуги одну из рук, яростно чешет нос и кидается догонять фугу...

Странное совпадение. Кто тут, собственно, кому соперничает?

20.31

Интересно, мне это только кажется, или композитор действительно задался целью сделать каждую последующую фугу длиннее предыдущей? Надо проверить. Когда-нибудь, не сегодня...

...А пианист, чтобы подбодрить себя, то ударяет всеми своими ножками в пол, то подбрасывает их высоко вверх, а время от времени скручивается винтом так, что его верхняя половина туловища сидит уже анфас к публике... И снова-здорово: ропот, шобкое дыханье и трели соловья...

20.43

А, может, так и надо играть Баха? Чтоб всем неповадно было!..

20.48

И вообще – кому первому пришла в голову эта бредовая идея, играть все – вот это – подряд? Извращенцы!

20.54

...Так, где мы? Ага. Надо разобраться, долго ли еще. Значит, так: тонов – 12. В первом отделении шесть, это будет 6 прелюдий мажорных, 6 прелюдий минорных, 6 фуг мажорных, 6 фуг минорных, каждой твари по паре, итого дважды два четыре, четырежды шесть двадцать четыре. Двадцать четыре! Сорок восемь разделить на два. Двадцать четыре! Двенадцать прелюдий и двенадцать фуг. Двенадцать мажоров и двенадцать миноров.

Какая-то мистика чисел, магия какая-то прямо! И никуда от нее не уйти...

21.03

...А вдруг он решит первое отделение длиннее, а второе короче сделать? Нет, не может быть. Зачем попусту волноваться... Нет, мы же так не договаривались!

И потом, это нелогично. Даже как-то неэстетично. Неаккуратненько.

Может, захлопать, когда он ровно половину закончит? Меня только на половину звали. Для второй половины там уже совсем другой человек приготовлен!..

21.06

Какую-то старушку с заплетающимися ногами, повисшую на руках двух мужиков, тихо выволакивают из зала. Отмучалась...

21.11

Вот. Заканчивает фа-минорную. Теперь выждать приличную маленькую паузу – и захлопать.

Эй, да он там снова переворачивает! Стой, куда? опять???

Но тут и кроме меня есть добрые, отзывчивые люди. Уже хлопают! Слава тебе Господи! Да и пианист вроде как раздумал играть. «Это он себе на второе готовил!» – мелькает догадка. И так легко сразу на сердце!

Только знакомая моя почему-то не хлопает. Я кошу глазом: потрясена. Так проняло, что окаменела. Вот-вот потечет.

Быстро бормочу что-то неискреннее. Кратко, но сильно выражаю свое полнейшее восхищение вперемежку с низжайшей благодарностью.

Мужайся, товарищ, час твоей свободы близок!..

21.14

...На входе маячат фигуры мужа и билетера. Зажав в руке билет, как эстафету, приближаюсь к демаркационной линии с видом пленного советского разведчика, которого вот-вот обменяют на важного западного шпиона.

«Вы сейчас свободны? Как у Вас со временем?» – ни с того ни с сего спрашивает меня меценат. «Немного есть...» – легкомысленно и без тени предчувствия отвечаю я.

Тогда он кивает билетеру.

Тот, сияя от удовольствия, с видом фокусника протягивает мне новенький билет...

Ошалев как бы от счастья, я выгребаю остаток денег из моего кошелька. Блаженно улыбаюсь улыбкой человека, раздавленного свалившимся на него счастьем.

В сопровождении моих благодетелей поворачиваю назад.

Туда, где меня уже поджидал Бах.

Мюнхен, январь 2005